

И С А А К
БАБЕЛЬ

ИСААК БАБЕЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 3 ТОМАХ

Том 3

Работа над рассказом

Ростов-на-Дону

«ФЕНИКС»

2022

УДК821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44
КТК610
Б12

Бабель И.

Б12 Собрание сочинений : в 3 т. / Исаак Бабель. — Ростов н/Д : Феникс, 2022.

ISBN 978-5-222-37322-4

Т. 3 : Работа над рассказом / [сост., коммент. И. Н. Сухих]. — 2022. — 317, [1] с.

ISBN 978-5-222-36669-1

В третий том собрания сочинений Исаака Эммануиловича Бабеля (1894–1940) входят оставшиеся вне циклов ранние и поздние рассказы, две сохранившиеся новеллы из книги о коллективизации «Великая Криница», киносценарии, пьеса «Мария», а также глава из коллективного романа «Большие пожары».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-222-36669-1 (т. 3)
ISBN 978-5-222-37322-4

© Бабель И. Э., наследники, 2022
© Сухих И. Н., составление,
комментарии, 2022
© ООО «Феникс», оформление, 2022

РАБОТА НАД РАССКАЗОМ

Когда я начинал работать, писать рассказы, я, бывало, на две-три страницы нанижу в рассказе сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден, и вместе с тем так уплотнял свой рассказ, что нельзя было перевести дыхания.

В рассказах молодых писателей, которые я прочел, дело обстоит лучше.

Рассказы эти хороши тем, что написаны просто. Здесь нет претензий, вычурности, но стилия своего маловато, удара и страсти мало.

Я считаю, что нужно было подробней описать фабрику, больше показать ее специфику, для того чтобы ощущалась присущая ей атмосфера. Конечно, не надо запутывать рассказ всякими техническими словами, но ритмику фабричной жизни следует показать более ярко.

В описании у автора какие-то не свои слова, не им рожденные. Такие же фразы мы уже не раз читали.

Возьмем, например, такую фразу: «Дымились сочные тополя». Ведь это уже было сказано; я уверен, что автор не продумал этих слов. Он не вспомнил как следует описываемого им вечера, его краски, небо. А если бы он подумал об этом,

если бы почувствовал всю красоту вечера, то нашел бы неповторимые слова для его описания.

Я вовсе не говорю, что нужно находить такие слова, которыми можно огорошить читателя. Я вовсе не требую особой вычурности, такой, чтобы все ахнули и сказали: «Написал, мол, такое, чего никто другой не придумает». Но нужно изменять затрепанные образы или дополнять их своими словами.

Мне не нравится и такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу» — так уже много раз говорили.

Русский язык еще сыроват, и русские писатели находятся, в смысле языка, в более выгодном положении, чем французские. По художественной цельности и отточенности французский язык доведен до предельной степени совершенства и тем осложняет работу писателей. Об этом с грустью говорили мне молодые французские писатели. Чем заменить сухость, блеск, отточенность старых книг, — разве что шумовым оркестром?

Мы не находимся в таком положении. Нам следует искать страстные, но простые и новые слова. А вот такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу», — несомненно, встречалась.

Возьмите Горького. Изучение его важно, оно много даст для понимания техники рассказа и новеллы. Я говорю о Горьком не в том смысле, что ему надо слепо подражать, а потому, что он создает рассказы, которые при сплаве с ритмом нашей жизни дают изумительные результаты.

Возьмите его маленькие рассказы в полторы-две страницы, они летят, летят как песня. Кто помнит его рассказ «Едут»?

Рассказ «Едут» очень короток. Всем надо его прочесть. Но вернемся к Меньшикову.

Вот у него такая фраза: «Колхоз вырос уверенно и скоро». Слова «уверенно и скоро», может быть, и хорошие слова, но в данном случае они становятся плохими, общими.

Или вот такая фраза: «Прошумела, проканонадила революция». Я люблю новые слова, но это слово какое-то неуклюжее, неудобное.

Или такая фраза: «И когда тоска проходила...» Это не раз повторялось, затрепано. Я должен сказать, что мне в этом рассказе больше нравится то, чего в нем нет, чем то, что в нем есть. В нем нет пошлости — это хорошо, и это чрезвычайно важно.

Я опять вернусь к Горькому. В основе его статей о литературе лежит борьба с пошлостью, являющейся в наших условиях, в условиях нашей литературы могучим орудием враждебных нам сил.

Мы хотим наши мысли, желания и устремления сделать достоянием миллионов людей. Но если слова и фразы затрепаны, если у автора нет мужественного отношения к словам и фразам, то они превращаются в силу, отравляющую наше сознание. Это важно понять.

Наша литература не похожа на западную, — в частности, на литературу Франции. О чем там пишут? Полюбил молодой человек девушку — ничего из этого не вышло. Хотел работать — тоже ничего не вышло. В результате застрелился.

У нас пишут не так. Нашему автору — о чем бы он ни писал — совершенно ясно, что дело идет о величайшей переделке людей, о ломке старого мира. И, о чем бы он ни повествовал, он будет говорить именно об этом. А об этом нельзя говорить пошло, что у нас, к сожалению, часто бывает.

Если о революционных сдвигах говорить разухабисто, без чувства ответственности, то тем самым можно только помочь контрреволюции чувств.

Вот этого дефекта в рассказах Меньшикова нет. И это очень хорошо.

Но вместе с тем у него мыслей маловато, нет удара, нет настоящей внутренней мускулатуры в словах. Вы здесь не видите внутренней жизни автора, не видите основы под его словами. Они плавают на поверхности.

Я оптимист в области литературы и уверен, что мы дадим еще не виданные произведения. Они рождаются на основе со вмещения великолепной техники со страстностью, с ритмом нашей эпохи.

Нам нужны теперь небольшие рассказы. У десятков миллионов новых читателей досуга мало, и поэтому они требуют небольших рассказов. Нужно признать, что у нас романы пишутся слабо. У наших авторов еще не хватает темперамента и своих мыслей на триста страниц. Получаются десятки тетрадей, исписанных механически.

Меньшиков. Скажите, каким путем вы избавлялись от литературщины? Как вы находили свое лицо?

Бабель. В детстве я учился плохо. В семнадцать лет на меня «нашло», я стал много читать и учиться. В течение одного года изучил три языка, прочел много книг. До сих пор я в значительной степени питаюсь этим багажом. Теперь настало время коренным образом этот багаж обновить и дополнить. В наши дни из писателя малознающего, полагающегося на нутро ничего не выйдет. Конечно, забота о самостоятельности писателя должна быть постоянной.

Только теперь я начинаю подходить к профессионализму. Прежде чем что-нибудь написать, я проверяю себя. Не надо прибавлять к сотням тысяч напечатанных плохих страниц еще одну страницу болтовни.

Вы спрашиваете меня: можно ли написать рассказ в короткий срок? Если вам, например, сейчас скажут: «Поезжайте во Францию и напишите о ней очень быстро хороший рассказ», вы, наверное, этого сделать не сможете. Но если бы у вас были определенно сложившийся взгляд, жизненный опыт, собственная оценка явлений, вы бы смогли написать такой рассказ.

Представьте себе, что Ленин, который не являлся специалистом-писателем, пожелал бы исследовать быт какой-либо американской народности. Он пошел бы в рабочие кварталы, на фабрики, заводы, в банки, в исследовательские институты и проверил бы свои, всей жизнью накопленные мысли и убеждения, и именно под этим углом он написал бы так же блестяще об опыте какого-нибудь народа, как писал и другие, знакомые нам исследования.

Меньшиков. Как вы пишете: сразу или работаете подолгу над каждой фразой?

Бабель. Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух, потом садился, писал без помарки и сразу же сдавал в редакцию. Все прежние мои рассказы, которые вы читали, написаны без помарок, можно сказать, по памяти. Потом я изменил метод. Вот пришла мне мысль, и я ее записываю. Затем надолго откладываю. Проходит два-три месяца, опять к ней возвращаюсь, и так это иногда несколько лет продолжается. У меня особая какая-то любовь к переделкам. Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе: написать мне трудно, а переделывать нравится.

Все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению, а работать каждый должен по-своему. Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине. А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале. Это все равно что работать рядом с шумящим авиамотором. Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро. Великолепный образец высокого профессионализма и стиля в работе дает Горький. Вот у него, мне кажется, учиться надо.

Почему я мало печатал в последние годы? Все старался переломить себя, научиться писать длинно. Затея была гордая, но неправильная. Теперь вернулся к самому себе и выбираю из груды заготовленного материала (у меня хватило вкуса его не печатать) годное.

Работникам в области литературы думать — дело не лишнее, а сейчас в особенности. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Идеям, рожденным пролетарской революцией, идеям нового человека, тесно в кацавейке Баранцевича, Рышкова или Потапенко.

Надо упорно работать и над формой, и над содержанием, памятуя о высоком звании писателя в Советской стране.

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Товарищи, статьи Горького о языке, мне кажется, нельзя толковать ограничительно. Они имеют далеко идущий смысл и значение. Важно не только то, что говорится, скажем, о какой-нибудь ошибке автора, о его небрежности, невежестве — тут больше вины, пожалуй, редактора, чем автора. Это статьи о великой ответственности и революционной важности слов в наши дни, особенно в нашей стране.

В истории человечества не было такого времени, когда за ведущим классом (а в нашей стране за рабочим классом и его партией) шли бы миллионы и десятки миллионов трудящихся людей, спаянных одной мыслью, одной идеей и стремлением. С этой точки зрения необыкновенно важен, я бы сказал — потрясающ наш съезд. Были у нас съезды инженеров, профессоров, химиков, строителей, но этот съезд, съезд «инженеров душ», людей по самой своей профессии, по их технологии разъединенных разностью самоощущения, вкусами, методами работы, — необычаен.

И никогда в истории человечества все эти люди, знающие, что такое «сопротивление материала», сопротивление слова, не чувствовали такой силы единства, как чувствуем мы и трудящиеся нашей страны. Мы объединены этой общностью идеи, мысли, борьбы, потому что, товарищи, борьба, видоизменившаяся в нашей стране, развернется с невиданной силой

во всем мире. В этой борьбе нужно немного слов, но это должны быть хорошие слова, а выдуманные, пошлые, казенные слова, пожалуй, играют на руку враждебным нам силам. Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция. Пошлость — вот один из важнейших врагов, по моему мнению.

На днях я был свидетелем такого случая. Монтер по соседству избил свою жену. Сбежались люди. Один говорит: дрянной человек, женщину избил. Другой: это припадочный. Подходит третий и говорит: какой черт припадочный, это — контрреволюционер.

Товарищи, я испытал чувство растроганности, когда услышал эти слова. Если в широкую массу, в толщу нашего народа вошло такое высокое духовное понятие о революции, то действительно победа ее окончательна. За этими чувствами слова не поспевают. Наша задача — облагородить эти слова. Посмотрите вы на превращение наших газет. Они были скучноваты, тусклы, не отражали многообразия жизни. Но вот поистине с чудесной, возможной только в нашей стране быстротой с ними произошло изменение.

Очередь за газетой — радостная очередь, если не говорить, конечно, с точки зрения бумажной промышленности (*смех и аплодисменты*).

Теперь происходит как бы массовый призыв литераторов в газету (я говорю главным образом о газете, о брошюре, потому что это многомиллионные тиражи, многомиллионный рупор), и этому призыву надо последовать.

Со здания социализма снимаются первые леса. Самым близоруким видны уже очертания этого здания, красота его. И мы все — свидетели того, как нашу страну охватило могучее чувство просто физической радости.

Но выразители этой радости у нас иногда хромают. Иногда вдруг какой-нибудь человек, в сущности глубоко унылая лич-

ность, зарядит о своей радости, начнет талдычить и нудить; на таких радующихся тошно глядеть.

Этот человек становится еще более страшен, когда он испытывает потребность объясниться кому-нибудь в любви (*смех*). Невыносимо громко говорят у нас о любви. Товарищи, на месте женщин я бы впал в панику: если так будет продолжаться, им перебьют все барабанные перепонки. Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах. И ведь дошло уже до того, что объекты любви начинают протестовать, вот как Горький вчера.

Серьезное тут заключается в том, что мы, литераторы, обязаны содействовать победе нового, большевистского вкуса в стране. Это будет немалая политическая победа, потому что, по счастью нашему, у нас не политических побед нет. Это будет и утверждение стиля нашей эпохи... Он не в болтовне, не в декларациях и не в необыкновенной способности говорить длинно, когда мысль коротка (причем специалистов говорить длинно можно убедить говорить коротко только тогда, когда у них никакой мысли нет) (*смех*).

Стиль большевистской эпохи — в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья.

На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин над словом, нам надо (*аплодисменты*).

Вот я сказал об уважении к читателю, о читателе. С ним прямо беда. Если сказать словами Зошенко, это получается форменная труба (*смех*). Вот иностранные товарищи жалуются на него. Товарищи, а у нас читатели наступают сомкнутыми рядами, они идут прямо в кавалерийскую атаку на нас, бреющим полетом носятся над головой и протягивают руку, в которую вы камень не положите. Тут надо положить хлеб

искусства. Он требует этого иногда с трогательностью, иногда с прямолинейным простодушием. Конечно, нужно его предупредить во избежание могущих возникнуть недоразумений: хлеб-то мы ему постараемся положить, но насчет стандарта формы этого хлеба — тут хорошо бы удивить его неожиданностью искусства, а не то чтобы он сказал: «Правильно, с подлинным верно». Без высоких мыслей, без философии нет литературы. Довольно теней на стекле! И этого читатель от нас ждет.

Я заговорил об уважении к читателю. Я, пожалуй, страдаю гипертрофией этого чувства. Я к нему испытываю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю (*смех*).

Представишь себе аудиторию читателей человек в пятьсот секретарей райкомов, которые знают в десять раз больше нас, писателей, и пчеловодство, и сельское хозяйство, и как строить металлургические гиганты, и тоже — «инженеры душ», — тогда и чувствуешь, что тут разговорами, болтовней, гимназической чепухой не отделаешься. Тут разговор должен быть серьезный и вплотную.

Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне — великом мастере этого жанра (*смех*).

Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох с голоду, и никакому издателю не было бы дела до того, как говорит Эренбург, кролик я или слониха. Произвел бы меня этот издатель, скажем, в зайцы и в этом качестве заставил бы меня прыгать, а не стал бы — меня заставили бы продавать галантерею. А вот здесь, в нашей стране, интересуются — а он кролик или слониха, что у него там в утробе, причем и не очень эту утробу толкают, — маленько, но не очень (*смех, аплодисменты*), и не очень допытываются, какой будет младенец: шатен или брюнет, и что он будет говорить и прочее. Вот, товарищи, я этому не радуюсь, но это, пожалуй, живое доказательство того, как в нашей стране уважаются методы работы, хотя бы необычные и медлительные.

Вслед за Горьким мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что все нам дано партией и правительством и отнято только одно право — плохо писать.

Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право, и отнимают у нас немало (*смех*). Это была привилегия, которой мы широко пользовались.

Так вот, товарищи, давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам Бог. Впрочем, Бога нет, сами себе поможем (*аплодисменты*).

РАССКАЗЫ

Старый Шлойме

Хотя наш городок и невелик, хотя все жители в нем напечет, хотя Шлойме прожил в городке 60 лет безвыедно, но все-таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому, что его просто забыли, как забывают ненужную, не попадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме. Ему было 86 лет. Глаза его слезились; лицо, маленькое, грязное, морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался, редко менял платье, и от него дурно пахло; сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой, спрятали в теплый угол и забыли о нем. Теплый угол и еда — вот что осталось у Шлойме, и, казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые, изломанные кости, скушать хороший кусок жирного, сочного мяса было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый; жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще, еще хоть один маленький кусочек. На Шлойме было противно смотреть в то время, когда он ел: вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, лицо такое жалкое, полное страшной боязни, чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка под-

шучивала над Шлойме: за столом она как будто случайно обходила его; старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным, беззубым ртом; он хотел доказать, что для него не важно кушанье, что он и так обойдется, но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках чувствовалась такая просьба, эта с таким трудом скорченная улыбка была так жалка, что шутки забывались и старый Шлойме получал свою порцию.

Так и жил он в своем углу — ел и спал, а летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось, давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее, и только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил с Шлойме, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойме был очень доволен, когда однажды после ужина сын подошел к нему и громко крикнул на ухо: «Папаша, нас выселяют отсюда, слышите, выселяют, гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойме медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный скюртук, ничего не ответил и побрел спать.

С этого дня Шлойме начал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын был расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию. Невестка кричала визгливым голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала, горько, с надрывом плакала.

У Шлойме нашлось теперь занятие — он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. «Их гонят отсюда!» Шлойме знал, за что их гонят. «Но ведь он не может уехать! Ему 86 лет; он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро... Нет, Шлойме никуда не уйдет. Ему некуда идти, совсем некуда». Шлойме забился в свой угол, и ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать,

погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. «Он вырос здесь, прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище». В минуты таких дум Шлойме неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но... он так давно ни с кем не говорил, никому ничего не советовал. И слова застывали в беззубом рте, поднятая рука бессильно опускалась. Шлойме, весь съезжившись, как бы застыдившись своего порыва, угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорит сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика, и пара маленьких глаз с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывала. Один раз слово было произнесено слишком громко: невестка забыла, что Шлойме еще не умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойме. Коллеблющимися шагами, грязный и всклокоченный, он медленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора, несколько раз покачал головой, и впервые за много-много лет слезы выкатились из его глаз. Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка... Шлойме хотел обогреться. Ему сделалось холодно.

С той поры Шлойме ни о чем другом не думал. Он знал одно: сын его хотел уйти от своего народа, к новому Богу. Старая, забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойме никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем, навсегда уйти от своего Бога, Бога униженного и страдающего народа — этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове, туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно стояли перед ним: «Нельзя этого, нельзя!» И когда понял Шлойме, что несчастье неотвратимо, что сын

не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, старый Шлойме, что тебе теперь делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими, старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. «Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что ж? Шлойме расскажет Богу, как его обидели, Бог ведь есть, Бог примет его». В этом Шлойме был уверен.

Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по-стариковски охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно... Все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, взобрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет безвыездно, и повис...

Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую Тору.

Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь, — ответил Гершкович, — к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два, — сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша...

.....
Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э, — поморщился Гершкович, — какое глупство.

— Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

— Нивроко, — сказал Гершкович, — пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

.....
— Э, — снова поморщился Гершкович, — я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка, — медленно промолвила проститутка, — это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

СОДЕРЖАНИЕ

Работа над рассказом	5
Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей	10
РАССКАЗЫ	
Старый Шлойме	17
Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна	20
Мама, Римма и Алла	24
Девять	34
Вдохновение	37
Doudou	40
В щелочку	42
Шабос-нахаму	44
На станции (<i>набросок с натуры</i>)	50
На поле чести	52
Иисусов грех	62
Сказка про бабу	67
Баграт-Оглы и глаза его быка	69
Ты проморгал, капитан!	71
Конец Св. Ипатия	73
На биржу труда! <Глава IX из коллективного романа «Большие пожары»>	75
Нефть	80
Улица Данте	85
Сулак	91
Суд	94

ВЕЛИКАЯ КРИНИЦА

Гапа Гужва	99
Кольвущка	106

КИНОСЦЕНАРИИ И ПЬЕСА

Китайская мельница (<i>Пробная мобилизация</i>)	115
Блуждающие звезды	142
Блуждающие звезды. <i>Рассказ для кино</i>	197
Мария. <i>Пьеса в 8 картинах</i>	206
Старая площадь, 4	249
Примечания. <i>И. Н. Сухих</i>	298

Литературно-художественное издание

Исаак Бабель
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 3-Х ТОМАХ
Том 3
Работа над рассказом

Ответственный редактор *Д. Кондратьев*
Художественный редактор *Ю. Прописнова*
Технический редактор *Г. Логвинова*
Компьютерная верстка *М. Залиева*

Формат издания 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 20,0. Тираж 3000 экз. Заказ №

Издатель и изготовитель: ООО «Феникс».
Юр. и факт. адрес: 344011, Россия, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 150
Тел/факс: (863) 261-89-65, 261-89-50

Изготовлено в России. Дата изготовления: 08.2022. Срок годности не ограничен.

Отпечатано в АО «ТАТМЕДИА»

Филиал «Полиграфическо-издательский комплекс "Идел-Пресс"».

Юр. адрес: 420097, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая, д. 2
Факт. адрес: 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, здание 2



*Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.*